

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Раскачивало между степью и морем.

Степь была суха и черна, и душное море — черно.

Степь начиналась в колкой и душной тьме и уходила в непроходимую, твердеющую мглу. Она очужела самой себе, оттого что растеряла запахи.

В аду не пахнут травы. Там ничто не имеет вкуса.

К сохлому языку налипло измельчённое в острый песок крошево собственных зубов.

Море было близким, но шум его не накатывал, а гудел гудом, будто бы слышавший его лежал закопанным в морское дно.

Море не дышало, не грело, не холодило, не доставало до губ.

Море мутило душу.

В аду нет зренья, оттого что нет света.

Там не дотянешься ни до чего.

Там неприподъёмна самая малая мысль.

...но он всё-таки ещё был.

Промельк первой бесхвостой искорки его сознания не осветил тьмы, не вырезал в ней царапку даже с ресницу величиной.

Но в тот миг он стал заново собираться в живую плоть.

У него была голова. Она была больше и тяжелей человеческой.

Глаз у головы не было.

Голова лежала на затылке. Затылок словно бы прорастал в землю, распустив колкие корешки.

Он расслышал тяжесть своей руки. Долго собирался, всплывая в забытье и выплывая из него. Наконец, вложив в то все свои силы, дрогнул мизинцем.

Движение истратило все его силы, и он пропал внутри себя самого, как в глухой яме.

То, где он находился, не было могилой.

Он дышал.

Очнувшись спустя неизвестное ему время, вслушиваясь в себя, словно бы разодранного на куски и раскиданного в разные стороны, он поискал свои ноги.

Не обнаружил ни одной жилки, которая помогла бы дрогнуть колену, ступне.

Ему не было страшно, потому что на страх не доставало сил.

Он не испытывал боли оттого, что весь состоял из опутавшей его муки. Мука была всей, имевшейся у него, жизнью.

У него не было имени.

Память его была бестрепетна.

Речь его рассыпалась, став недоступной.

Всё время была ночь и ночь, и в ночи возник голос.

Голос произнёс слова.

— *Ольдюмы?* (Он умер? — татарский.)

Слова долго, как перекасти-поле, искали пристанища, и, наконец, достигли его сознания.

Сначала те слова лежали, как яйца в покинутом гнезде.

Затем скорлупа треснула, и он разгадал смысл.

Спрашивали о нём.

Станным образом ответ явился много позже, упав на землю, как тяжёлая капля.

— *Йох.* (Нет. — тат.)

Прошло ещё сколько-то времени, прежде чем раздался смех. Тем смехом, как позёмкой, прибило ещё одно слово:

— *Язых!* (Обидно! — тат.)

Каждое услышанное слово порождало мягкие червлёные круги в его голове.

Прошлое было таким: он — мал, и ещё не знает своего облика.

Висят нити вяленых яблок.

Он играет на полу в низкой, чисто выбеленной светлице.

Слышит на себе застывший материнский взгляд. Мать смотрит в его лицо, как вдаль — ровно и неотрывно.

Катит крохотное деревянное колесо по всё большему кругу, стараясь приблизиться к матери, но не нарочно, а как бы случайно.

Он уверен: если взглянуть на мать, она, поправив платок, встанет и беззвучно уйдёт.

И всё равно он помнит её наизусть.

Мать белокожа и черноброва. Брови её тонкие, почти сросшиеся. Губы — не умеют улыбаться. Сочные, как маслины, широко, почти по-лягушачьи, расставленные глаза — бесстрастны.

Цепкие, по-змеиному сильные, длинные пальцы — холодны. В них недостаёт крови, и ногти на тех пальцах, как слюда, прозрачны.

Из своей укачливой мглы, недвижимый, словно сведённый длинной, во всё оставшееся тело, судорогой, он ждал её голоса.

И всё катил и катил колесо, видя край её ярких юбок, острые носки туфель, напряжённые белые пальцы на тонком колене.

Он кружился всё сильнее и сильнее, готовый от чрезмерных стараний завалиться матери в ноги, и тут был остановлен касанием всего лишь двух — указательного и среднего — пальцев...

...колец мать не носила...

Он онемел.

Колесо застыло.

Взмахнули юбки.

Мать вышла.

Осталось бесконечно длинное слово, или несколько сказанных материнским голосом слов, которые как-то связывали его и её.

— *Харанлыгымнын ярыгы.* (Свет моей тьмы. — тат.)

— *Анам. Мен сенин оглыным.* (Мама. Я твой сын. — тат.)

Изнанка моря надорвалась, и на лицо полилась вода.

Вода падала больно, словно была смешана с мелким камнем.

Рот его впору было взрезать ножом. Преодолевая надсадную свербь в затылке и в ушах, совершил жуткое усилие — и разом, со звуком рвущейся ткани, вскрыл пасть. Показалось, кусок нижней губы, надорвавшись, оказался сверху.

В кривой, кровавый рот сколками серебра сыпала, тяжело ударяя о зубы, вода. Не умея с ней совладать, выталкивал ожившим, вспуганным языком режущую тяжесть наружу.

Вода пахла рудой и никак не могла протолкнуться в горло.

Наконец, первый, случайный, с воздухом прорвавшийся глоток покатылся внутрь, пробиваясь сквозь пыль и накипь.

Захлёбываясь, двигал головою. Прилипший волосами затылок заклокотал от боли. Меж глаз заметалась свиристая мука.

Кашлял, переживая собственный кашель, как многократное паденье о камни. Искал хоть какой-то опоры, но руки вовсе не слушались его.

Не найдя, как остановить себя, покинул сознание — и пропал.

...пробудило явственное присутствие других. Два дыханья и два молчанья.

Так просыпается зверь в норе, чувствуя, что воздух теперь разделён на троих.

Люди, находившиеся поблизости, не имели кислого духа болезни. Они были сильнее его.

Прислушиваясь, разлепил губы, словно открытый рот мог помочь слышать.

Качнул рукой, и в сей раз смог дрогнуть уже несколькими пальцами, почуяв слабую колкость соломы.

— *Еси ли жэдан?* (Хочешь пить? — сербский.) — тут же спросили его. — *На, пий... Видиш?* (На, пей... Видишь? — срб.) — произнесли чуть громче. — *Ние мртав.* (Он не умер. — срб.)

— *...и так умрзе. З такими ранами сие нье жийом* (Всё равно умрёт. С такими ранами не живут. — польский.), — ответил другой человек.

Он понимал голоса обоих.

Раскрыл губы и с необычайным стараньем сделал два, совсем малых, глотка.

Глотая, заново распознавал свою голову.

Вкус айрана ощущался только языком и одною щекой. Вторая щека была — мясная, спутанная, словно бы раздавленная копытом.

— *Види, ту е ёш и ябука!* (Смотри, тут ещё яблоко! — срб.) — сказал первый голос.

— *Як он спойрзи?* (Как он посмотрит? — пол.) — насмешливо сказал второй. — *Зналажешь, гдже са його оузы?* (Найди, где его глаза? — пол.)

Помолчав, первый голос ответил:

— *Збориш злэ речи!* (Злые речи твои! — срб.)

...почувствовал на губах крохотный мякиш яблока.

Разомкнул кровоточащий рот. Мякиш коснулся зубов. Поймал мякиш и придавил языком к щеке.

Голова саднила, будто все её кости были раздавлены как скорлупа.

Проглотить мякиш яблока он не сумел.

— *Ёш?* (Ещё? — срб.) — спросили его.

Он выдохнул:

— Ни.

...засыпал и просыпался, словно бы одна волна уносила его от берега, а вторая — негаданно возвращала.

Сон становился чутким, как в лесу.

Сквозь сон слышал взгляд.

— *Ко си ти?* (Ты кто? — срб.) — спросил знакомый уже человек, присаживаясь с ним рядом.

В голове его, тихо закипая, толкалась кровь. Он не ведал ответа.

На него наплывала огромная туча, преисполненная назревающим, как роды, ливнем.

Пытаясь миновать тучу, он погонял коня, забирая в сторону.

Туча не была столь же быстра, как его конь. Но она словно бы катилась вниз — и то придавало ей страшную скорость.

...прошлое настигало его.

В миг, когда туча сравнялась с ним, среди разорванных всполохов молний начали метаться несчётные, забытые им люди. Их сшибало дождём и сносило яростной водой. Карогод грохотал и пенился.

Слово, отмыкающее память, возникло у него на языке, как прикипевшая золотая монета. Он еле приподнял его.

Слово то было: «Спасе».

II

Отец говорил: если боль повсюду — не пробуй её победить. Заберись внутрь своей муки и лежи в ней, как в утробе.

Он пребывал внутри страдания, словно в своей матери.

Ему предстояло рождение, и оно не пугало его.

Он уже обретал однажды имя и речь.

Первое явление отца было — возвращенье.

Отца даровала благословенная, в солнечных всполохах, река.

Сначала по воде доносились дальние, звонкие, грубые голоса.

Трещали коростели, свистели кулики — всё вокруг трепетало радостью.

Над стенами их городка проносились ласточки.

На стене стоял опушённый солнцем пушкарь с зажжённым фитилём.

Белую, маслянистую воду рассекали осиянные солнцем струи.

Тяжело грянул пушечный выстрел — и звук тот длился, словно ядро, намотав на себя сияющую рвань и оборки облаков, всё несло и несло, набирая силу.

На другом берегу взлетели аисты.

Затрезвонил торопливый, как сыновье сердце, колокол.

Вперебой, будто голодная скотина, заревели трубы с валов.

Стоящие рядом закричали. Другие уже плакали. Третьи, шепча, молились.

Струи были преисполнены тяжестью.

Вёсла рушились о воду и сгибались в натяге.

Корявые, как коряги, с лицами бронзового литья люди на стругах казались неотличимыми друг от друга.

Несколько из них размахивали шапками.

...бывший здесь же, он заполошно пугался, что не признаёт отца.

И тут же увидел его: с яростными глазами на выгоревшем, исхудавшем лице, отец спрыгнул со струга в реку.

Шагал, преодолевая течение, к берегу: в жёлтых сапогах, в невиданном кожаном кафтане с железными пуговицами и срезанными рукавами, покрытом многодневным налётом соли. Шапка — волчья, задрпанная на затылок.

Когда выходил на сушу — сапоги, отекая водой, сияли и серебрились.

...он не видел и не слышал никого, кроме отца.

Солнца будто бы стало многократно больше: как птица о многих крылах, металось оно меж стругов и людей, идущих сквозь воды. Каждое весло лило золото.

Отец тут же насыпал сыну — из своей, кажущейся железной, из чёрной и пахнущей порохом ладони — в раскрытый рот, как галчонку, — сладостей. Хрустя леденцами, развернулся, — и увидел трепещущие горем глаза такого же ребёнка, не встретившего никого.

...не зная зачем, сплюнул леденцы в руку.

Нёс их, сжимая.

Возле настежь раскрытых ворот городка пальцев было не разлепить.

...теперь он расслышал запахи.

Пахло — человеческим смрадом, подгнившим сеном, каменной сыростью, плесенью, земляным полом, мышами, дымом.

Ещё — кровью и гноем; то были его кровь и его гной.

Он лежал в собственной мерзости, изгнивая.

...порой доносился кислый дух тёплой овощной похлёбки. Щекотал ноздри вкус вяленой рыбы. Запах лепёшки будил язык, разгонявший набегающую кровяную слюну.

...когда гремела дверь и входили иные люди, оставался запах масляной лампы и гвоздичных леденцов.

...где-то высоко был проём, откуда, вместе с прохладой ночи, мягко наплывал запах конюшни, разросшегося яблочного, грушевого, сливового, вишнёвого, черешневого сада, роз.

...в небе стонал ночной ворон. Резали воздух нетопыри.

Ржали лошади. Позвякивали уздечки.

Грохот колёс давал понять, что здание окружает каменный двор.

Двор закрывался на тяжёлые, в железных листах, ворота.

У ворот стояли люди, невнятно переговариваясь.

Иногда подзывали, иногда гнали собаку.

Вдруг вскрикивал, будто падая или перелетая с места на место, муэдзин.

Тот крик означал: его выдрали из прошлого, как из грядки.

Он больше не владел своей жизнью.

Будущее его, как плод, лежало в чужой руке.

...явилось в памяти: отправились на ту сторону реки — он и отец.

Отец правил каюком.

От жары река казалась оглушённой и медленной.

Он был совсем мал.

Степь трудно дышала, стрекоха несчётными голосами насекомых.

Солнце цедило медленный чад.

Переползая среди жарких трав за жуками и ящерками, потерял отца.

Заигравшись, сполз в балку, слыша надрывный одинокий птичий крик над головой.

Ухватился руками за колющее будыльё. Увидел перед собой человеческий череп. Внутри черепа таилось гнездо. Там, раскрывая клювы, копошились птенцы.

Сердце ещё колотилось, но он уже зачарованно разглядывал птиц.

Сверху по траве скатился отец.

Прилёг на локоть возле.

— По птичьему гомону нашёл... — прошептал о пронсящейся над их головами птице. — Мать волнуется...

Просоленным, кривым пальцем отец провёл по рубленой ране, раскroившей череп.

Птенцы, вытягивая хрупкие шейки, разом сбились в кучу, словно на них подул резкий ветер.

Птица пролетела совсем близко над головами отца и сына.

— Знались, поди... — сказал отец. — ...а безглазого... не угадываю.

— *Имам крпу. Дай да ти обришем лице, врат? Я чу само овлаш...* (У меня есть ветошь. Давай я протру тебе лицо, шею? Я едва-едва... — срб.) — сказал знакомый уже голос.

— *Обмыеши го, кеды он умже!* (Обмоешь его, когда он умрёт! — пол.) — сказал второй.

— *Еси ли ти крштэн?* (Крест есть на тебе? — срб.)

— *Естэм. Для тэго мушэ мувичь неправдэ?* (Есть. Поэтому я должен говорить неправду? — пол.)

Говорившие подле него, судя по голосам, были тех же лет, что и он.

Они не казались стеснёнными в движениях, но никогда не уходили отсюда.

У них не имелось никакого оружия, даже ножей.

Все они оставались внутри больших каменных стен.

То была темница.

...влажная ветошь коснулась его лица.

Ему отирали лоб, висок, бровь.

Другая половина лица саднила, будто туда насыпали угли.

Макова его была теперь велика и смята.

Он уже догадывался, в какое уродище обратился.

По щеке отекала вода.

Услышал, как треснула и тихо посыпалась кровавая корка, скрывавшая его глаз.

Под мягкими движениями, стирающими зачерствелую грязь, затрепетали, оживая, ресницы.

— *Нэ хитай. Очна дупля ти е била скроз црна. Мислио сам да нэмаш око. Мислио сам да нэмаш ниедно око. Али изгледа да сам се преварио. Сад...* (Не спеш. Глазница была совсем чёрной. Думал, у тебя нет глаза. Думал, нет ни одного глаза. Кажется, я был не прав. Сейчас... — срб.)

Тот, кто ухаживал за ним, сдерживал дыхание и очень старался.

— *Покушай* (Попробуй. — срб.), — попросил он.

Не дыша, помогая себе натугою лба, попытался открыть глаз.

— *Сачекай* (Подожди. — срб.), — сказали ему.

Глазницу снова протёрли, но уже не ветошью, а двумя, затем, уверенно давя, уже тремя пальцами. Затем, очень бережно, краем ладони.

— *Ёш едном?* (Ещё раз? — срб.)

Лицо отца пропылилось настолько, что его было ни отмыть, ни оттереть. Пыль вкипела в кожу так, что всякая малая морщинка на отцовском лице была приметна. Он был будто бы покрыт нестираемой паутиной.

Борода отца была серой, цветом в шкуру волка, но жёстче на ощупь.

На вид отец всегда казался старше, чем на самом деле. Зато он не менялся, проживая лето за летом будто в одних годах.

Белокожая, с прямым лицом мать не имела ни одной морщинки. Мнилось, что она совсем юна: настолько, что и не могла б оказаться матерью своих чад.

Натруженные её пальцы тоже оставались белы.

Когда, собрав пальцы в щепоть, она солила пищу, пальцы её раскрывались, как цветок. Казалось, что цветок тот — солёный.

Зрачки у матери, когда ей случалось сердиться, сужались до кошачьей остроты. У отца же в бешенстве зрачки — расплзались, становясь, как у зверя, чёрными.

Кожа на скулах натягивалась, морщины заострялись. Отец задирал голову, будто задыхаясь. Показывался такой огромный кадык, как если бы отец проглотил рака. Серая борода дыбилась.

Мать страшилась отцовского гнева — хотя не пугалась ни грома, ни змей, ни ночного брожения неотпетых мёртвых на другой стороне их реки.

Когда отец гневался, мать обретала дар исчезать.

В дни обычные — отец и мать не разговаривали. Они будто не знали языка друг друга.

А он знал язык и отца, и матери.

...наконец, он открыл совсем малую, с конский волос, щёлочку глаза.

Его будто бы поцеловали в самое сердце.

Сквозь полутьму, наискосок, струился полный пыли солнечный луч.

Он смотрел и смотрел: словно пил воду.

В луче ниспадали и тут же, как тронутые незримым теченьем, возносились вверх пылинки. Невозможно было наглядеться.

...успокоившись, повёл зрачком в сторону от света, где ничего ещё не было различимым.

Тьма вокруг была столь же густа, как внутри него.

Его спугнул тихий смех, раздававшийся где-то рядом.

— Видишь? Ты видишь?

...и здесь он узрел человеческий лик.

В первый миг смеющийся человек показался страшным, старым. Из бороды и волос его торчала ячменная солома.

...сожмурил прозревший глаз, пережидая.

Вдохнул, выдохнул, попытался открыть глаз шире.

Теперь человек напротив оказался молодым.

У него были впалые щёки и жалостливые глаза. Длинные морщины разделяли его лицо, как порезанное яблоко.

Человек выглядел то ли смеющимся, то ли плачущим.

Неожиданно для себя самого он рывком согнул левую руку.

Скосился на свои растопыренные, чёрные, мелко дрожащие пальцы.

— Вижу... — выдохнул, наконец.

...в ладони насохла застаревшая кровь.

Попробовал сжать кулак, но не справился, уронил руку на сено.

Зажмурившись, переждал.

Бережно открыв глаз, чуть склонил голову — и разглядел разодранную на груди рубашку. Кожа на груди посинела. В самой середине груди, под кожей, начал как бы расти рог.

...собрав все силы свои, подтянул руку и потрогал одеревеневшими пальцами тот рог. Стенало всё тело, но рог не болел вовсе.

— *Лакишэ!..* (Бережнее!.. — срб.) — попросил его человек с глубокими морщинами. — *Сломлено ти е овде: прса. Вероватно и овде: твоя друга рука. И ноге су ти сломенэ. Тукли су те и по глави. Требало е да умрэш од тих батина. Али ти си одлэжао едан дан, ноч и дан, и освестио се. Треба те окупати и превити.* (У тебя сломано здесь: грудь. И, наверное, здесь: другая твоя рука. И твои ноги сломаны. И в твою голову били. От таких ударов ты должен был умереть. Но ты пролежал день, ночь и день, и очнулся. Тебя надо отмыть и перевязать. — срб.)

— Ты сербин? — спросил он. — Серб?

— *Есам!* (Да! — срб.)

Серб огладил бороду, улыбаясь.

— Московит? — спросил серб. — Казак?.. *Како ти ѿ имэ?* (Как тебя зовут? — сrb.)

Он не смог бы рассказать сразу обо всём — и выбрал последнее.

— Степан, — ответил он.

— Стéван? — переспросил серб и засмеялся.

— Степан, — повторил он.

На единственный глаз, неотвязчивая, наплывала слеза.

Едва касаясь пальцем, он ловил и высушивал её. Долго шурился, играя веком. Бережно раздирал всё ещё слипшиеся ресницы.

Давая глазу отдых, слепо трогал себя неполоманной рукой, вспоминая своё тело.

Настойчиво тягая левой рукой за штанину, будто бы разбудил одну ногу, — и она отозвалась в ступне, в колене, в пальцах.

Другая же, в ответ на самый малый переполох, змеиным рывком кусала так, что всполошённая боль достигала переносицы, ушей, отдавалась в заглазьях.

Двигая ожившей ногою, цепляясь за земляные полы, сумел завалить себя на бок.

Так увидел проём у потолков, откуда падал свет.

Окошко было не зарешечено — в него едва ли б смогло пробраться и дитя.

Попытался присесть, но тело не поддалось. Внутри будто обломились заглавные подпоры.

— Эй, — позвал он. — Как тебя?

— Стéван.

— Я Степан, так.

— Я! Стеван! Стево! То ми е имэ!

Серб мягко тронул кулаком свою грудь.

Степан посмотрел на серба единственным зрячим глазом сквозь опять набежавшую слезу.

Серб, улыбаясь, пожал плечами.

Плечи у него были гибкие, как у птицы. Серб всё время потягивался, словно бы готовясь расправить крылья.

— Лохань, — выдохнул Степан.

Лохань была невелика, но Степан смотрел на неё, как на гору, ставшую посреди пути.

— ...да ти помогнэм? (...я помогу? — сrb.) — спросил серб.

— Нет, — сказал Степан. — Уйди.

...он и не помнил, чтоб чем-нибудь занимался так долго.

Нагребал сена под спину. Выворачивался, сжав зубы и топорща в муке глаз; другой же метался в своей тьме. Рвался наружу рёв.

В голове, как в братине, туда-сюда переливалась, пылая, жижа.

Был себе и смешон, и постыл, и мерзок.

Тонкая, настырная струйка крови — из-под содранной присохлой раны на голове — заливала глазницу, щекотала губы, горчила на языке.

...ослушавшийся его серб притащил, кинул подле Степана охапку сена. Отступил назад на шаг, намереваясь уйти, — но едва Степан зажмурился, ловко подоткнул ему сено под спину, и тут же, с усилием, впихнул под него лохань.

Спустя время свалился с лохани на бок — как после адовой работы.

Закатил глаза, накрыв ладонью странно, почти как у ребёнка, уменьшившееся своё мужское естество.